Госпожа Бовари

Автор:
Гюстав Флобер

Госпожа Бовари

Гюстав Флобер

В основе всего творчества французского писателя Гюстава Флобера (1821–1880) лежит непримиримый конфликт и несоответствие внутреннего духовного мира человека с окружающей действительностью. В своем известнейшем романе «Госпожа Бовари» Гюстав Флобер дает жесткий психологический анализ главной героини Эммы Бовари, живущей в надежде заполнить внутреннюю пустоту и неспособной противостоять пошлости и жестокости мира.

Гюстав Флобер

Госпожа Бовари

© Перевод. Н. Любимов, наследники, 2020

© Агентство ФТМ, Лтд., 2020

* * *

МАРИ-АНТУАНУ-ЖЮЛЮ СЕНАРУ,

парижскому адвокату,

бывшему президенту Национального собрания

и министру внутренних дел

Дорогой и знаменитый друг!

Позвольте мне поставить Ваше имя на первой странице этой книги, перед посвящением, ибо Вам главным образом я обязан ее выходом в свет. Ваша блестящая защитительная речь указала мне самому на ее значение, какого я не придавал ей раньше. Примите же эту слабую дань глубочайшей моей признательности за Ваше красноречие и за Ваше самопожертвование.

Гюстав Флобер

Париж, 12 апреля 1857 г.

Посвящается Луи Буйле

Часть первая

I

Когда мы готовили уроки, к нам вошел директор, ведя за собой одетого по-домашнему «новичка» и служителя, тащившего огромную парту. Некоторые из нас дремали, но тут все мы очнулись и вскочили с таким видом, точно нас неожиданно оторвали от занятий.

Директор сделал нам знак сесть по местам, а затем, обратившись к классному наставнику, сказал вполголоса:

– Господин Роже! Рекомендую вам нового ученика – он поступает в пятый класс. Если же он будет хорошо учиться и хорошо себя вести, то мы переведем его к «старшим» – там ему надлежит быть по возрасту.

Новичок все еще стоял в углу, за дверью, так что мы с трудом могли разглядеть этого деревенского мальчика лет пятнадцати, ростом выше нас всех. Волосы у него были подстрижены в кружок, как у сельского псаломщика, держался он чинно, несмотря на крайнее смущение. Особой крепостью сложения он не отличался, а все же его зеленая суконная курточка с черными пуговицами, видимо, жала ему в проймах, из обшлагов высовывались красные руки, не привыкшие к перчаткам. Он чересчур высоко подтянул помочи, и из-под его светло-коричневых брючек выглядывали синие чулки. Башмаки у него были грубые, плохо вычищенные, подбитые гвоздями.

Начали спрашивать уроки. Новичок слушал затаив дыхание, как слушают проповедь в церкви, боялся заложить нога на ногу, боялся облокотиться, а в два часа, когда прозвонил звонок, наставнику пришлось окликнуть его, иначе он так и не стал бы в пару.

При входе в класс нам всегда хотелось поскорее освободить руки, и мы обыкновенно бросали фуражки на пол; швырять их полагалось прямо с порога под лавку, но так, чтобы они, ударившись о стену, подняли как можно больше пыли; в этом заключался особый шик.

Быть может, новичок не обратил внимания на нашу проделку, быть может, он не решился принять в ней участие, но только молитва кончилась, а он все еще держал фуражку на коленях. Она представляла собою сложный головной убор, помесь медвежьей шапки, котелка, фуражки на выдровом меху и пуховой шапочки, – словом, это была одна из тех дрянных вещей, немое уродство которых не менее выразительно, чем лицо дурачка. Яйцевидная, распяленная на китовом усе, она начиналась тремя круговыми валиками; далее, отделенные от валиков красным околышем, шли вперемежку ромбики бархата и кроличьего меха; над ними высилось нечто вроде мешка, который увенчивался картонным многоугольником с затейливой вышивкой из тесьмы, а с этого многоугольника свешивалась на длинном тоненьком шнурочке кисточка из золотой канители. Фуражка была новенькая, ее козырек блестел.

– Встаньте, – сказал учитель.

Он встал; фуражка упала. Весь класс захохотал. Он нагнулся и поднял фуражку. Сосед сбросил ее локтем – ему опять пришлось за ней нагибаться.

– Да избавьтесь вы от своего фургона! – сказал учитель, не лишенный остроумия.

Дружный смех школьников привел бедного мальчика в замешательство – он не знал, держать ли ему фуражку в руках, бросить ли на пол или надеть на голову. Он сел и положил ее на колени.

– Встаньте, – снова обратился к нему учитель, – и скажите, как ваша фамилия.

Новичок пробормотал нечто нечленораздельное.

– Повторите!

В ответ послышалось то же глотание целых слогов, заглушаемое гиканьем класса.

– Громче! – крикнул учитель. – Громче!

Новичок с решимостью отчаяния разинул рот и во всю силу легких, точно звал кого-то, выпалил:

– Шарбовари!

Тут взметнулся невообразимый шум и стал расти crescendo[1 - Нарастая (итал.).], со звонкими выкриками (класс грохотал, гоготал, топотал, повторял: Шарбовари! Шарбовари!), а затем распался на отдельные голоса, но долго еще не мог утихнуть и время от времени пробегал по рядам парт, на которых непогасшею шутихой то там, то здесь вспыхивал приглушенный смех.

Под градом окриков порядок мало-помалу восстановился, учитель, заставив новичка продиктовать, произнести по складам, а потом еще раз прочитать свое имя и фамилию, в конце концов разобрал слова «Шарль Бовари» и велел бедняге сесть за парту «лентяев», у самой кафедры. Новичок шагнул, но сейчас же

остановился в нерешимости.

– Что вы ищете? – спросил учитель.

– Мою фур… – беспокойно оглядываясь, робко заговорил новичок.

– Пятьсот строк всему классу!

Это грозное восклицание, подобно «Quos ego!»[2 - Вот я вас! (лат.)], укротило вновь поднявшуюся бурю.

– Перестанете вы или нет? – еще раз прикрикнул разгневанный учитель и, вынув из-под шапочки носовой платок, отер со лба пот. – А вы, новичок, двадцать раз проспрягаете мне в тетради ridiculus sum[3 - Я смешон (лат.).]. – Несколько смягчившись, он прибавил: – Да найдется ваша фуражка! Никто ее не украл.

Наконец все успокоились. Головы склонились над тетрадями, и оставшиеся два часа новичок вел себя примерно, хотя время от времени прямо в лицо ему попадали метко пущенные с кончика пера шарики жеваной бумаги. Он вытирал лицо рукой, но позы не менял и даже не поднимал глаз.

Вечером, перед тем как готовить уроки, он разложил свои школьные принадлежности, тщательно разлиновал бумагу. Мы видели, как добросовестно он занимался, поминутно заглядывая в словарь, стараясь изо всех сил. Грамматику он знал недурно, но фразы у него получались неуклюжие, так что в старший класс его, видимо, перевели только за прилежание. Родители, люди расчетливые, не спешили отдавать его в школу, и основы латинского языка ему преподал сельский священник.

У его отца, г-на Шарля-Дени-Бартоломе Бовари, отставного ротного фельдшера, в 1812 году вышла некрасивая история, связанная с рекрутским набором, и ему пришлось уйти со службы, но благодаря своим личным качествам он сумел прихватить мимоходом приданое в шестьдесят тысяч франков, которое владелец шляпного магазина давал за своей дочерью, прельстившейся наружностью фельдшера. Красавчик, говорун, умевший лихо бряцать шпорами, носивший усы с подусниками, унизывавший пальцы перстнями, любивший рядиться во все яркое, он производил впечатление бравого молодца и держался с коммивояжерской бойкостью. Женившись, он года два-три проживал

приданое – плотно обедал, поздно вставал, курил фарфоровые чубуки, каждый вечер бывал в театрах и часто заглядывал в кафе. Тесть оставил после себя немного; с досады г-н Бовари завел было фабрику, но, прогорев, удалился в деревню, чтобы поправить свои дела. Однако в сельском хозяйстве он смыслил не больше, чем в ситцах, на лошадях своих катался верхом, вместо того чтобы на них пахать, сидр тянул целыми бутылками, вместо того чтобы продавать его бочками, лучшую живность со своего птичьего двора съедал сам, охотничьи сапоги смазывал салом своих свиней – и вскоре пришел к заключению, что всякого рода хозяйственные затеи следует бросить.

За двести франков в год он снял в одном селении, расположенном на границе Ко и Пикардии, нечто среднее между фермой и помещичьей усадьбой и, удрученный, преисполненный поздних сожалений, ропща на Бога и всем решительно завидуя, разочаровавшись, по его словам, в людях, сорока пяти лет от роду уже решил затвориться и почить от дел.

Когда-то давно жена была от него без ума. Она любила его рабской любовью и этим только отталкивала его от себя. Смолоду жизнерадостная, общительная, привязчивая, к старости она, подобно выдохшемуся вину, которое превращается в уксус, сделалась неуживчивой, сварливой, раздражительной. Первое время она, не показывая виду, жестоко страдала от того, что муж гонялся за всеми деревенскими девками, от того, что, побывав во всех злачных местах, он являлся домой поздно, разморенный, и от него пахло вином. Потом в ней проснулось самолюбие. Она ушла в себя, погребла свою злобу под плитой безмолвного стоицизма – и такою оставалась уже до самой смерти. У нее всегда было столько беготни, столько хлопот! Она ходила к адвокатам, к председателю суда, помнила сроки векселей, добивалась отсрочки, а дома гладила, шила, стирала, присматривала за работниками, платила по счетам, меж тем как ее беспечный супруг, скованный брюзгливым полусном, от которого он возвращался к действительности только для того, чтобы сказать жене какую-нибудь колкость, покуривал у камина и сплевывал в золу.

Когда у них родился ребенок, его пришлось отдать кормилице. Потом, взяв мальчугана домой, они принялись портить его, как портят наследного принца. Мать закармливала его сладким; отец позволял ему бегать босиком и даже, строя из себя философа, утверждал, что мальчик, подобно детенышам животных, вполне мог бы ходить и совсем голым. В противовес материнским устремлениям он создал себе идеал мужественного детства и соответственно этому идеалу старался развивать сына, считая, что только суровым, спартанским

воспитанием можно укрепить его здоровье. Он заставлял его спать в нетопленом помещении, учил пить большими глотками ром, учил глумиться над религиозными процессиями. Но смирному от природы мальчику все это не прививалось. Мать таскала его за собой всюду, вырезывала ему картинки, рассказывала сказки, произносила нескончаемые монологи, исполненные горестного веселья и многоречивой нежности. Устав от душевного одиночества, она сосредоточила на сыне все свое неутоленное, обманувшееся честолюбие. Она мечтала о том, как он займет видное положение, представляла себе, как он, уже взрослый, красивый, умный, поступает на службу в ведомство путей сообщения или же в суд. Она выучила его читать, более того – выучила петь два-три романса под аккомпанемент старенького фортепьяно. Но г-н Бовари не придавал большого значения умственному развитию: «Все это зря!» – говорил он. Разве они в состоянии отдать сына в казенную школу, купить ему должность или торговое дело? «Не в ученье счастье, – кто победовей, тот всегда в люди выйдет». Г-жа Бовари закусывала губу, а мальчуган между тем носился по деревне.

Во время пахоты он сгонял с поля ворон, кидая в них комья земли. Собирал по оврагам ежевику, с хворостиной в руке пас индюшек, разгребал сено, бегал по лесу; когда шел дождь, играл на церковной паперти в «классы», а по большим праздникам, вымолив у пономаря разрешение позвонить, повисал всем телом на толстой веревке и чувствовал, что он куда-то летит вместе с ней.

Так, словно молодой дубок, рос этот мальчик. Руки у него стали сильные, щеки покрылись живым румянцем.

Когда ему исполнилось двенадцать лет, мать решительно заявила, что его пора учить. Заниматься с ним попросили священника. Но польза от этих занятий оказалась невелика, – на уроки отводилось слишком мало времени, к тому же они постоянно срывались. Священник занимался с ним в ризнице, стоя, наспех, урывками, между крестинами и похоронами, или, если только его не звали на требы, посылал за учеником после вечерни. Он уводил его к себе в комнату, там они оба усаживались за стол; вокруг свечки вилась мошкара и ночные бабочки. В комнате было жарко, мальчик дремал, а немного погодя и старик, сложив руки на животе и открыв рот, начинал похрапывать. Возвращаясь иной раз со святыми дарами от больного и видя, что Шарль проказничает в поле, он подзывал его, с четверть часа отчитывал и, пользуясь случаем, заставлял где-нибудь под деревом спрягать глагол. Их прерывал дождь или знакомый прохожий. Впрочем, священник всегда был доволен своим учеником и даже

говорил, что у «юноши» прекрасная память.

Ограничиться этим Шарлю не подобало. Г-жа Бовари настояла на своем. Г-н Бовари устыдился, а вернее всего разговоры об этом ему просто-напросто надоели, но только он сдался без боя, и родители решили ждать лишь до той поры, когда мальчуган примет первое причастие, то есть еще один год.

Прошло полгода, а в следующем году Шарля наконец отдали в руанский коллеж, – в конце октября, в разгар ярмарки, приурочиваемой ко дню памяти святого Романа, его отвез туда сам г-н Бовари.

Теперь уже никто из нас не мог бы припомнить какую-нибудь черту из жизни Шарля. Это была натура уравновешенная: на переменах он играл, в положенные часы готовил уроки, в классе слушал, в дортуаре хорошо спал, в столовой хорошо ел. Опекал его оптовый торговец скобяным товаром с улицы Гантри – раз в месяц, по воскресеньям, когда его лавка бывала уже заперта, он брал Шарля из училища и посылал пройтись по набережной, поглядеть на корабли, а в семь часов, как раз к ужину, приводил обратно. По четвергам после уроков Шарль писал матери красными чернилами длинные письма и запечатывал их тремя облатками, затем просматривал свои записи по истории или читал растрепанный том «Анахарсиса», валявшийся в комнате, где готовились уроки. На прогулках он беседовал со школьным сторожем, тоже бывшим деревенским жителем.

Благодаря своей старательности он учился не хуже других, а как-то раз даже получил за ответ по естественной истории высшую отметку. В нашем коллеже он пробыл всего три года, а затем родители его взяли – они хотели сделать из него лекаря и были уверены, что к экзамену на бакалавра он сумеет приготовиться самостоятельно.

Мать нашла ему комнату на улице О-де-Робек, на пятом этаже, у знакомого красильщика. Она уговорилась с красильщиком насчет пансиона, раздобыла мебель – стол и два стула, выписала из дому старую, вишневого дерева, кровать, а чтобы ее бедный мальчик не замерз, купила еще чугунную печурку и дров. Через неделю, после бесконечных наставлений и просьб к сыну вести себя хорошо, особенно теперь, когда смотреть за ним будет некому, она уехала домой.

Ознакомившись с программой занятий, Шарль оторопел: курс анатомии, курс патологии, курс физиологии, курс фармацевтики, курс химии, да еще ботаники, да еще клиники, да еще терапия, сверх того – гигиена и основы медицины, – смысл всех этих слов был ему неясен, все они представлялись вратами в некое святилище, где царил ужасающий мрак.

Он ничего не понимал; он слушал внимательно, но сути не улавливал. И все же он занимался, завел себе тетради в переплетах, аккуратно посещал лекции, не пропускал ни одного занятия в клинике. Он исполнял свои несложные повседневные обязанности, точно лошадь, которая ходит с завязанными глазами по кругу, сама не зная – зачем.

Чтобы избавить его от лишних расходов, мать каждую неделю посылала ему с почтовой каретой кусок жареной телятины, и это был его неизменный завтрак, который он съедал по возвращении из больницы, топоча ногами от холода. А после завтрака – бегом на лекции, в анатомический театр, в больницу для хроников, оттуда через весь город опять к себе на квартиру. Вечером, после несытного обеда у хозяина, он шел в свою комнату, снова садился заниматься – поближе к раскаленной докрасна печке, и от его отсыревшей одежды шел пар.

В хорошие летние вечера, в час, когда еще не остывшие улицы пустеют, когда служанки играют у ворот в волан, он открывал окно и облокачивался на подоконник. Под ним, между мостами, между решетчатыми оградами набережных, текла превращавшая эту часть Руана в маленькую неприглядную Венецию то желтая, то лиловая, то голубая река. Рабочие, сидя на корточках, мыли в ней руки. На жердях, торчавших из слуховых окон, сушились мотки пряжи. Напротив, над крышами, раскинулось безбрежное чистое небо, залитое багрянцем заката. То-то славно сейчас, наверное, за городом! Как прохладно в буковой роще! И Шарль раздувал ноздри, чтобы втянуть в себя родной запах деревни, но запах не долетал.

Он похудел, вытянулся, в глазах у него появился оттенок грусти, благодаря которому его лицо стало почти интересным.

Мало-помалу он начал распускаться, отступать от намеченного плана, и вышло это как-то само собой. Однажды он не явился в клинику, на другой день пропустил лекцию, а затем, войдя во вкус безделья, и вовсе перестал ходить на занятия.

Он сделался завсегдатаем кабачков, пристрастился к домино. Просиживать все вечера в грязном заведении, стучать по мраморному столику костяшками с черными очками – это казалось ему высшим проявлением самостоятельности, поднимавшим его в собственных глазах. Он словно вступал в новый мир, впервые притрагивался к запретным удовольствиям. Берясь при входе за ручку двери, он испытывал нечто вроде чувственного наслаждения. Многое из того, что прежде он подавлял в себе, теперь развернулось. Он распевал на дружеских пирушках песенки, которые знал назубок, восхищался Беранже, научился приготовлять пунш и познал наконец любовь.

Благодаря такой блестящей подготовке он с треском провалился на экзаменах и звания лекаря не получил. А дома его ждали в тот же день к вечеру, собирались отметить это радостное событие в его жизни!

Домой он пошел пешком и, остановившись у въезда в село, послал за матерью и все ей рассказал. Она простила его, объяснила его провал несправедливостью экзаменаторов, обещала все устроить, и Шарль немного повеселел. Г-н Бовари узнал правду только через пять лет. К этому времени она уже устарела, и г-н Бовари примирился с нею, да он, впрочем, и раньше не допускал мысли, что его отпрыск – болван.

Итак, Шарль снова взялся за дело, уже ничем не отвлекаясь, стал готовиться к экзамену и все, что требовалось по программе, затвердил наизусть. Отметку он получил довольно приличную. Какой счастливый день для матери! Дома по этому случаю был устроен пир.

Да, но где бы ему применить свои познания? В Тосте. Там был только один врач, и притом уже старый. Г-жа Бовари давно ждала его смерти, и не успел бедный старик отправиться на тот свет, как Шарль в качестве его преемника поселился напротив его дома.

Но воспитать сына, сделать из него врача, подыскать для него место в Тосте – это еще не все, его надо женить. И г-жа Бовари нашла ему невесту – вдову дьеппского судебного исполнителя, женщину сорока пяти лет, но зато имевшую тысячу двести ливров годового дохода.

Госпожа Дюбюк была некрасива, суха как жердь, прыщей на ее лице выступало столько, сколько весной набухает почек, и тем не менее женихи у нее не

переводились. Чтобы добиться своего, г-же Бовари пришлось их устранить, и действовала она так ловко, что ей даже удалось перебить дорогу одному колбаснику, за которого стояло местное духовенство.

Шарль рассчитывал, что брак поправит его дела, он воображал, что будет чувствовать себя свободнее, сможет располагать и самим собою, и своими средствами. Но супруга забрала над ним силу, она наказывала ему говорить при посторонних то-то и не говорить того-то, он должен был поститься по пятницам, одеваться по ее вкусу и допекать пациентов, которые долго не платили. Она распечатывала его письма, следила за каждым его шагом и, когда он принимал у себя в кабинете женщин, подслушивала за дверью.

По утрам она не могла обойтись без шоколаду; она требовала к себе постоянного внимания. Вечно жаловалась то на нервы, то на боль в груди, то на дурное расположение духа. Шум шагов ее раздражал; стоило от нее уйти – и она изнывала в одиночестве; стоило к ней вернуться – ну конечно, вернулся посмотреть, как она умирает. Вечером, когда Шарль приходил домой, она выпрастывала из-под одеяла свои длинные худые руки, обвивала их вокруг его шеи, усаживала его к себе на кровать и принималась изливать ему свою душевную муку: он ее забыл, он любит другую! Недаром ей предсказывали, что она будет несчастна. А кончалось дело тем, что она просила какого-нибудь сиропа для поправления здоровья и немножко больше любви.

II

Как-то ночью, часов около одиннадцати, их разбудил топот коня, остановившегося у самого крыльца. Служанка отворила на чердаке слуховое окошко и начала переговариваться с человеком, который находился внизу, на улице. Он приехал за доктором, – он привез ему письмо. Настази, дрожа от холода, спустилась по лестнице, повернула ключ, один за другим отодвинула засовы. Человек спрыгнул с коня и прямо за ней вошел в спальню. Вынув из шерстяной шапки с серыми кистями завернутое в тряпицу письмо, он почтительно вручил его Шарлю, и тот, облокотившись на подушку, начал читать. Настази, стоя у кровати, держала свечку. Барыня от смущения повернулась лицом к стене.

Письмо, запечатанное маленькой, синего сургуча, печатью, содержало мольбу к г-ну Бовари как можно скорее прибыть на ферму Берто и оказать помощь человеку, сломавшему себе ногу. Но от Тоста до Берто, если ехать через Лонгвиль и Сен-Виктор, добрых шесть лье. Ночь была темная. Г-жа Бовари-младшая высказала опасение, как бы с мужем чего не случилось дорогой. Поэтому условились, что конюх, доставивший письмо, поедет сейчас же, а Шарль – через три часа, как только взойдет луна. Навстречу ему выйдет мальчишка, покажет дорогу на ферму и отопрет ворота.

Около четырех часов утра Шарль, поплотней закутавшись в плащ, выехал в Берто. Он все еще был разнежен теплотою сна, и спокойная рысца лошади убаюкивала его. Когда лошадь неожиданно останавливалась перед обсаженными терновником ямами, какие обыкновенно роют на краю пашни, Шарль мгновенно просыпался, сейчас же вспоминал о сломанной ноге и начинал перебирать в памяти все известные ему случаи переломов. Дождь перестал, брезжил рассвет, на голых ветвях яблонь неподвижно сидели птицы, и перышки их ерошил холодный предутренний ветер. Всюду, куда ни посмотришь, расстилались ровные поля, и на этом огромном сером пространстве, сливавшемся вдали с пасмурным небом, редкими темно-лиловыми пятнами выделялись лишь купы деревьев, что росли вокруг ферм. Шарль по временам открывал глаза; потом сознание его уставало, на него снова нападала дремота, он быстро погружался в какое-то странное забытье, в котором недавние впечатления мешались с воспоминаниями, и сам он двоился: был в одно и то же время и студентом, и женатым человеком, лежал в постели, как только что перед этим, и проходил по хирургическому отделению, как когда-то давно. Он не отличал горячего запаха припарок от сильного запаха росы; ему слышались одновременно скрип железных колечек полога, скользящих по прутьям над кроватями больных, и дыхание спящей жены… Проезжая через Васонвиль, Шарль увидел, что на траве у канавы сидит мальчик.

– Вы доктор? – спросил он.

Получив подтверждение, мальчик взял в руки свои деревянные башмаки и пустился бежать впереди Шарля.

Завязав дорогой беседу со своим провожатым, лекарь узнал, что г-н Руо – один из самых богатых местных фермеров. Он сломал себе ногу вчера вечером, возвращаясь от соседа, к которому был приглашен на Крещение. Его жена умерла два года тому назад. С ним теперь только его единственная дочь,

«барышня», – она-то и помогает ему вести хозяйство.

Колеи стали глубже. Вот и Берто. Мальчуган, шмыгнув в лазейку, проделанную в изгороди, на минуту исчез; но очень скоро, отперев ворота, показался снова на самом краю двора. Лошадь скользила по мокрой траве, Шарль нагибался, чтобы его не хлестнуло веткой. Сторожевые псы лаяли возле своих будок, изо всех сил натягивая цепи. Когда Шарль въехал во двор, лошадь в испуге шарахнулась.

Ферма дышала довольством. В растворенные ворота конюшен были видны крупные рабочие лошади – они мирно похрустывали сеном, пощипывая его из новеньких кормушек. Вдоль надворных построек тянулась огромная навозная куча, от нее валил пар, по ней, среди индюшек и кур, ходили и что-то клевали пять или шесть павлинов – краса и гордость кошских птичников. Овчарня была длинная, рига высокая, с гладкими, как ладонь, стенами. Под навесом стояли две большие телеги и четыре плуга, висели кнуты, хомуты, полный набор сбруи; синие шерстяные потники были все в трухе, летевшей с сеновала. Симметрично обсаженный деревьями двор шел покато, на берегу пруда весело гоготали гуси.

На пороге дома появилась вышедшая навстречу к г-ну Бовари молодая женщина в синем шерстяном платье с тремя оборками и повела его в кухню, где жарко пылал огонь. Вокруг огня стояли чугунки, одни побольше, другие поменьше, – в них варился завтрак для работников. В камине сушилась мокрая одежда. Совок, каминные щипцы и горло поддувального меха – все это было громадных размеров, и все это сверкало, как полированная сталь; вдоль стен тянулась целая батарея кухонной посуды, в которой отражались языки яркого пламени, разгоревшегося в очаге, и первые лучи солнца, заглядывавшие в окно.

Шарль поднялся к больному на второй этаж. Тот лежал в постели и потел под одеялами; ночной колпак он с себя сбросил. Это был маленький толстенький человек лет пятидесяти, бледный, голубоглазый, лысый, с серьгами в ушах. На стуле возле его кровати стоял большой графин с водкой, из которого он время от времени пропускал для бодрости. При виде врача он тотчас же присмирел, перестал чертыхаться, – а чертыхался он перед этим двенадцать часов подряд, – и начал слабо стонать.

Перелом оказался легкий, без каких бы то ни было осложнений. Шарль даже и не мечтал о такой удаче. Вспомнив, как держали себя в подобных случаях его учителя, он стал подбадривать больного разными шуточками, теми ласками хирурга, которые действуют, как масло на рану. Из каретника принесли дранок

на лубки. Шарль выбрал одну дранку, расщепил и поскоблил ее осколком стекла; служанка тем временем рвала простыню на бинты, а мадемуазель Эмма старательно шила подушечки. Она долго не могла найти игольник, и отец на нее рассердился; она ничего ему не сказала – она только поминутно колола себе в спешке то один, то другой палец, подносила их ко рту и высасывала кровь. Белизна ее ногтей поразила Шарля. Эти блестящие, суживавшиеся к концу ноготки были отполированы лучше дьеппской слоновой кости и подстрижены в виде миндалин. Рука у нее была, однако, некрасивая, пожалуй, недостаточно белая, суховатая в суставах, да к тому же еще чересчур длинная, лишенная волнистой линии изгибов. По-настоящему красивы у нее были глаза; карие, они казались черными из-за ресниц и смотрели на вас в упор с какой-то прямодушной смелостью.

После перевязки г-н Руо предложил доктору «закусить на дорожку».

Шарль спустился в залу. Здесь к изножию большой кровати под ситцевым балдахином с вытканными на нем турками был придвинут столик с двумя приборами и двумя серебряными лафитничками. Из дубового шкафа, высившегося как раз напротив окна, пахло ирисом и только что выстиранными простынями. По углам стояли рядком на полу мешки с пшеницей. Они, видимо, не поместились в соседней кладовой, куда вели три каменные ступеньки. На стене, с которой от сырости местами сошла зеленая краска, висело в золотой рамке на гвоздике украшение всей комнаты – рисованная углем голова Минервы, а под ней готическими буквами было написано: «Дорогому папочке».

Сперва поговорили о больном, затем о погоде, о том, что стоят холода, о том, что по ночам в поле рыщут волки. Мадемуазель Руо несладко жилось в деревне, особенно теперь, когда почти все хозяйственные заботы легли на нее. В зале было прохладно, девушку пробирала дрожь, и от этого чуть приоткрывались ее пухлые губы, которые она, как только умолкала, сейчас же начинала покусывать.

Ее шея выступала из белого отложного воротничка. Тонкая линия прямого пробора, едва заметно поднимавшаяся вверх соответственно строению черепа, разделяла ее волосы на два темных бандо, оставлявших на виду лишь самые кончики ушей, причем каждое из этих бандо казалось чем-то цельным – до того ее волосы были здесь гладко зачесаны, а на виски они набегали волнами, сзади же сливались в пышный шиньон, – такой прически сельскому врачу никогда еще не приходилось видеть. Щеки у девушки были розовые. Между двумя

пуговицами ее корсажа был засунут, как у мужчины, черепаховый лорнет.

Когда Шарль, зайдя перед отъездом проститься к ее отцу, вернулся в залу, девушка стояла у окна и смотрела в сад на поваленные ветром подпорки для бобов.

– Вы что-нибудь забыли? – обернувшись, спросила она.

– Да, извините, забыл хлыстик, – ответил Шарль.

Он стал искать на кровати, за дверями, под стульями. Хлыст завалился за мешки с пшеницей и лежал у самой стены. Увидела его мадемуазель Эмма. Она наклонилась над мешками. Шарль, по долгу вежливости решив опередить ее, потянулся одновременно с ней и нечаянно прикоснулся грудью к спине девушки, которая стояла, нагнувшись, впереди него. Она выпрямилась и, вся вспыхнув, глядя на него вполоборота, протянула ему плеть.

Назавтра Шарль снова отправился в Берто, хотя обещал приехать через три дня, потом стал ездить аккуратно два раза в неделю, а кроме того, наезжал иногда неожиданно, якобы по рассеянности.

Между тем все обстояло хорошо. Выздоровление шло по всем правилам лекарского искусства, через сорок шесть дней папаша Руо попробовал без посторонней помощи походить по своей «лачужке», и после этого о г-не Бовари стали отзываться как об очень способном враче. Папаша Руо говорил, что лучшие доктора не только Ивето, но и Руана так скоро бы его не вылечили.

А Шарль даже и не задавал себе вопроса, отчего ему так приятно бывать в Берто. Если б он над этим задумался, он, конечно, объяснил бы свою внимательность серьезностью случая, а быть может, надеждой на недурной заработок. Но в самом ли деле по этой причине поездки на ферму составляли для него счастливое исключение из всех прочих обязанностей, заполнявших его скучную жизнь? В эти дни он вставал рано, пускал коня в галоп, всю дорогу погонял его, а неподалеку от фермы соскакивал, вытирал ноги о траву и натягивал черные перчатки. Ему нравилось въезжать во двор, толкать плечом ворота, нравилось, как поет на заборе петух, правилось, что работники выбегают навстречу. Ему нравились конюшни и рига; нравилось, что папаша Руо, здороваясь, хлопает его по ладони и называет своим спасителем; нравилось, как

стучат по чистому кухонному полу деревянные подошвы, которые мадемуазель Эмма подвязывала к своим кожаным туфлям. На каблуках она казалась выше; когда она шла впереди Шарля, деревянные подошвы, быстро отрываясь от пола, с глухим стуком хлопали по подметкам.

Всякий раз она провожала его до первой ступеньки крыльца. Если лошадь ему еще не подавали, Эмма не уходила. Прощались они заранее и теперь уже не говорили ни слова. Сильный ветер охватывал ее всю, трепал непослушные завитки на затылке, играл завязками передника, развевавшимися у нее на бедрах, точно флажки. Однажды, в оттепельный день, кора на деревьях была вся мокрая и капало с крыш. Эмма постояла на пороге, потом принесла из комнаты зонтик, раскрыла его. Сизый шелковый зонт просвечивал, и по ее белому лицу бегали солнечные зайчики. Эмма улыбалась из-под зонта этой теплой ласке. Было слышно, как на натянутый муар надают капли.

Первое время, когда Шарль только-только еще зачастил в Берто, г-жа Бовари-младшая всякий раз осведомлялась о здоровье больного и даже отвела ему в приходо-расходной книге большую чистую страницу. Узнав же, что у него есть дочь, она поспешила навести справки. Оказалось, что мадемуазель Руо училась в монастыре урсулинок и получила, как говорится, «прекрасное воспитание», то есть она танцует, знает географию, рисует, вышивает и бренчит на фортепьяно. Нет, это уже слишком!

«Так вот почему, – решила г-жа Бовари, – он весь сияет, когда отправляется к ней, вот почему он надевает новый жилет, не боясь попасть под дождь! Ах, эта женщина! Ах, эта женщина!..»

И она ее инстинктивно возненавидела. Сначала она тешила душу намеками – Шарль не понимал их; потом, будто ненароком, делала какое-нибудь замечание, – из боязни скандала Шарль пропускал его мимо ушей, – а в конце концов стала учинять вылазки, которые Шарль не знал, как отбить. Зачем он продолжает ездить в Берто, раз г-н Руо выздоровел, а денег ему там до сих пор не заплатили? Ну да, конечно, там есть «одна особа», – она рукодельница, востра на язык, сходит за умную. Он этаких любит, ему городские барышни нравятся!

– Но какая же дочка Руо – барышня? – возмущалась г-жа Бовари. – Хороша барышня, нечего сказать! Дед ее был пастух, а какой-то их родственник чуть не угодил под суд за то, что повздорил с кем-то и полез в драку. Зря она уж так

важничает, по воскресеньям к обедне ходит в шелковом платье, подумаешь – графиня! Для бедного старика это чистое разоренье; ему еще повезло, что в прошлом году хорошо уродилась репа, а то бы ему нипочем не выплатить недоимки!

Шарлю эти разговоры опостылели, и он перестал ездить в Берто. После долгих рыданий и поцелуев Элоиза в порыве страсти вынудила его поклясться на молитвеннике, что он больше туда не поедет. Итак, он покорился, но смелое влечение бунтовало в нем против его раболепного поведения, и, наивно обманывая самого себя, он пришел к выводу, что запрет видеть Эмму дает ему право любить ее. К тому же вдова была костлява, зубаста, зимой и летом носила короткую черную шаль, кончики которой висели у нее между лопатками; свой скелет она, как в чехол, упрятывала в платья, до того короткие, что из-под них торчали лодыжки в серых чулках, поверх которых крест-накрест были повязаны тесемки от ее огромных туфель.

К Шарлю изредка приезжала мать, спустя несколько дней она уже начинала плясать под дудку снохи, и они вдвоем, как две пилы, принимались пилить его и приставать к нему с советами и замечаниями. Напрасно он так много ест! Зачем подносить стаканчик всем, кто бы ни пришел? Это он только из упрямства не надевает фланелевого белья.

Но вот в начале весны энгувильский нотариус, которому вдова Дюбюк доверила свое состояние, дал тягу, захватив с собой всю наличность, хранившуюся у него в конторе. Правда, у Элоизы еще оставался, помимо шести тысяч франков, которые она вложила в корабль, дом на улице Святого Франциска, но, собственно, на хозяйстве супругов ее сказочное богатство, о котором было столько разговоров, никак не отразилось, если не считать кое-какой мебели да тряпья. Потребовалось внести в это дело полную ясность. Дьеппский дом был заложен и перезаложен; какую сумму она хранила у нотариуса – одному богу было известно, а доля ее участия в прибылях от корабля не превышала тысячи экю. Стало быть, эта милая дама все наврала!.. Г-н Бовари-отец в ярости сломал стул о каменный пол и сказал жене, что она погубила сына, связав его с этой клячей, у которой сбруя не лучше кожи. Они поехали в Тост. Произошло объяснение. Протекало оно бурно. Элоиза, вся в слезах, бросилась к мужу на шею с мольбой заступиться за нее. Шарль начал было ее защищать. Родители обиделись и уехали.

Но удар был нанесен. Через неделю Элоиза вышла во двор развесить белье, и вдруг у нее хлынула горлом кровь, а на другой день, в то время как Шарль повернулся к ней спиной, чтобы задернуть на окне занавеску, она воскликнула: «О боже!» – вздохнула и лишилась чувств. Она была мертва. Как странно!

С похорон Шарль вернулся домой. Внизу было пусто; он поднялся на второй этаж, вошел в спальню и, увидев платье жены, висевшее у изножья кровати, облокотился на письменный стол и, погруженный в горестное раздумье, просидел тут до вечера. Ведь она его все-таки любила.

III

Как-то утром папаша Руо привез Шарлю плату за свою сросшуюся ногу – семьдесят пять франков монетами по сорока су и вдобавок еще индейку. Он знал, что у Шарля горе, и постарался, как мог, утешить его:

– Я ведь это знаю по себе! – говорил он, хлопая его по плечу. – Я это тоже испытал! Когда умерла моя бедная жена, я уходил в поле – хотелось побыть одному; упадешь, бывало, наземь где-нибудь под деревом, плачешь, молишь Бога, говоришь ему всякие глупости: увидишь на ветке крота, – в животе у него черви кишат, – одним словом, дохлого крота, и завидуешь ему. А как подумаешь, что другие сейчас обнимают своих милых женушек, – и давай что есть мочи колотить палкой по земле; до того я ошалел, что даже есть перестал; поверите, от одной мысли о кафе у меня с души воротило. Ну, а там день да ночь, сутки прочь, за зимой – весна, за летом, глядишь, осень, и незаметно, по капельке, по чуточке, оно и утекло. Ушло, улетело, вернее, отпустило, потому в глубине души всегда что-то остается, как бы вам сказать?.. Тяжесть вот тут, в груди! Но ведь это наша общая судьба, стало быть, и не к чему нам так убиваться, не к чему искать себе смерти только оттого, что кто-то другой умер… Встряхнитесь, господин Бовари, и все пройдет! Приезжайте к нам; дочь моя, знаете ли, нет-нет да и вспомнит про вас, говорит, что вы ее забыли. Скоро весна; мы с вами поохотимся на кроликов в заповеднике – это вас немножко отвлечет.

Шарль послушался его совета. Он поехал в Берто; там все оказалось по-прежнему, то есть как пять месяцев назад. Только груши уже цвели, а папаша Руо был уже на ногах и расхаживал по ферме, внося в ее жизнь некоторое

оживление.

Считая, что с лекарем нужно быть особенно обходительным, раз у него такое несчастье, он просил его не снимать во дворе шляпы, говорил с ним шепотом, как с больным, и даже сделал вид, будто сердится на то, что Шарлю не приготовили отдельного блюда полегче – что-нибудь вроде крема или печеных груш. Он рассказывал разные истории. Шарль в одном месте невольно расхохотался, но, вспомнив о жене, тотчас нахмурился. За кофе он уже о ней не думал.

Он думал о ней тем меньше, чем больше привыкал к одиночеству. Вскоре он и вовсе перестал тяготиться им благодаря новому для него радостному ощущению свободы. Он мог теперь когда угодно завтракать и обедать, уходить и возвращаться, никому не отдавая отчета, вытягиваться во весь рост на кровати, когда уставал. Словом, он берег себя, нянчился с собой, охотно принимал соболезнования. Смерть жены пошла ему на пользу и в делах; целый месяц все кругом говорили: «Бедный молодой человек! Какое горе!» Его имя приобрело известность, пациентов у него прибавилось, и, наконец, он ездил теперь в любое время к Руо. Он питал какую-то неопределенную надежду, он был беспричинно весел. Когда он приглаживал перед зеркалом свои бакенбарды, ему казалось, что он похорошел.

Однажды он приехал на ферму часов около трех; все были в поле; он вошел в кухню, но ставни там были закрыты, и Эмму он сначала не заметил. Пробиваясь сквозь щели в стенах, солнечные лучи длинными тонкими полосками растягивались на полу, ломались об углы кухонной утвари, дрожали на потолке. На столе ползли вверх по стенкам грязного стакана мухи, а затем, жужжа, тонули на дне, в остатках сидра. При свете, проникавшем в каминную трубу, сажа отливала бархатом, остывшая зола казалась чуть голубоватой. Эмма что-то шила, примостившись между печью и окном; голова у нее была непокрыта, на голых плечах блестели капельки пота.

По деревенскому обычаю, Эмма предложила Шарлю чего-нибудь выпить. Он было отказался, но она настаивала и в конце концов со смехом объявила, что выпьет с ним за компанию рюмочку ликера. С этими словами она достала из шкафа бутылку кюрасо и две рюмки, одну из них налила доверху, в другой только закрыла донышко и, чокнувшись, поднесла ее ко рту. Рюмка была почти пустая, и, чтобы выпить, Эмме пришлось откачнуться назад; запрокидывая голову, вытягивая губы и напрягая шею, она смеялась, оттого что ничего не

ощущала во рту, и кончиком языка, пропущенным между двумя рядами мелких зубов, едва касалась дна. Потом она села и опять взялась за работу – она штопала белый бумажный чулок; она опустила голову и примолкла; Шарль тоже не говорил ни слова. От двери дуло, по полу двигались маленькие кучки сора; Шарль следил за тем, как их подгоняет сквозняк, и слышал лишь, как стучит у него в висках и как где-то далеко во дворе кудахчет курица, которая только что снесла яйцо. Эмма время от времени прикладывала руки к щекам, чтобы они не так горели, а потом, чтобы стало холоднее рукам, дотрагивалась до железной ручки больших каминных щипцов.

Она пожаловалась, что с наступлением жары у нее начались головокружения, спросила, не помогут ли ей морские купанья, рассказала о монастыре, Шарль, в свою очередь, рассказал о своем коллеже, и так у них завязалась оживленная беседа. Они прошли к ней в комнату. Она показала ему свои старые ноты, книжки, которые она получила в награду, венки из дубовых листьев, валявшиеся в нижнем ящике шкафа. Потом заговорила о своей матери, о кладбище и даже показала клумбу в саду, с которой в первую пятницу каждого месяца срывала цветы на ее могилку. Вот только садовник у них никуда не годный; вообще бог знает что за прислуга! Эмма мечтает жить в городе – хотя бы зимой, впрочем, летней порою день все прибавляется, и в деревне тогда, наверно, еще скучнее. В зависимости от того, о чем именно она говорила, голос ее делался то высоким и звонким, то внезапно ослабевал и, когда она рассказывала о себе, постепенно снижался почти до шепота, меж тем как лицо ее то озарялось радостью, и она широко раскрывала свои наивные глаза, а то вдруг мысль ее уносилась далеко, и она смотрела скучающим взглядом из-под полуопущенных век.

Вечером, по дороге домой, Шарль вызывал в памяти все ее фразы, одну за другой, пытался припомнить их в точности, угадать их скрытый смысл, чтобы до осязаемости ясно представить себе, как она жила, когда он с ней еще не был знаком. Но его мысленный взор видел ее такою, какой она предстала перед ним впервые, или же такою, какой он оставил ее только что. Потом он задал себе вопрос: что с ней станется, когда она выйдет замуж? И за кого? Увы! Папаша Руо богат, а она… она такая красивая! Но тут воображению его вновь явился облик Эммы, и что-то похожее на жужжанье волчка неотвязно зазвучало у него в ушах: «Вот бы тебе на ней жениться! Тебе бы на ней жениться!» Ночью он никак не мог уснуть, в горле у него все пересохло, хотелось пить; он встал, выпил воды и растворил окно; небо было звездное, дул теплый ветерок, где-то далеко лаяли собаки. Он поглядел в сторону Берто.

Решив, что, в сущности говоря, он ничем не рискует, Шарль дал себе слово при первом удобном случае сделать Эмме предложение, но язык у него всякий раз прилипал к гортани.

Папаша Руо был не прочь сбыть дочку с рук, – помогала она ему плохо. В глубине души он ее оправдывал – он считал, что она слишком умна для сельского хозяйства, этого богом проклятого занятия, на котором миллионов не наживешь. В самом деле, старик не только не богател, но из году в год терпел убытки, ибо хотя на рынках он чувствовал себя как рыба в воде и умел показать товар лицом, зато собственно к земледелию, к ведению фермерского хозяйства он не питал ни малейшей склонности. Ничем особенно он себя не утруждал, денег на свои нужды не жалел – еда, тепло и сон были у него на первом плане. Он любил крепкий сидр, жаркое с кровью, любил прихлебывать кофе с коньячком. Он ел всегда в кухне, один, за маленьким столиком, который ему подавали уже накрытым, точно в театре.

Итак, заметив, что Шарль в присутствии Эммы краснеет, – а это означало, что на днях он попросит ее руки, – папаша все обдумал заранее. Шарля он считал «мозгляком», не о таком зяте мечтал он прежде, но, с другой стороны, Шарль, по общему мнению, вел себя безукоризненно, все говорили, что он бережлив, очень сведущ, – такой человек вряд ли станет особенно торговаться из-за приданого. А тут еще папаше Руо пришлось продать двадцать два акра своей земли, да к тому же он задолжал каменщику, шорнику, и потом надо было поправить вал в давильне.

«Посватается – отдам», – сказал он себе.

Перед самым Михайловым днем Шарль на трое суток приехал в Берто. Третий день, как и два предыдущих, прошел в том, что его отъезд все откладывался да откладывался. Папаша Руо пошел проводить Шарля; они шагали по проселочной дороге и уже собирались проститься: пора было заговорить. Шарль дал себе слово начать, когда они дойдут до конца изгороди, и, как только изгородь осталась позади, он пробормотал:

– Господин Руо, мне надо вам сказать одну вещь.

Оба остановились. Шарль молчал.

– Ну, выкладывайте! Я и так все знаю! – сказал Руо, тихонько посмеиваясь.

– Папаша!.. Папаша!.. – лепетал Шарль.

– Я очень доволен, – продолжал фермер. – Девочка, наверно, тоже, но все-таки надо ее спросить. Ну, прощайте, – я пойду домой. Но только если она скажет «да», не возвращайтесь – слышите? – во избежание сплетен, да и ее это может чересчур взволновать. А чтобы вы не томились, я вам подам знак: настежь распахну окно с той стороны, – вы влезете на забор и увидите.

Привязав лошадь к дереву, Шарль выбежал на тропинку и стал ждать. Прошло тридцать минут, потом он отметил по часам еще девятнадцать. Вдруг что-то стукнуло об стену – окно распахнулось, задвижка еще дрожала.

На другой день Шарль в девять часов утра был уже на ферме. При виде его Эмма вспыхнула, но, чтобы не выдать волнения, попыталась усмехнуться. Папаша Руо обнял будущего зятя. Заговорили о материальной стороне дела; впрочем, для этого было еще достаточно времени – приличия требовали, чтобы бракосочетание состоялось после того, как у Шарля кончится траур, то есть не раньше весны. Зима прошла в ожидании. Мадемуазель Руо занялась приданым. Часть его была заказана в Руане, а ночные сорочки и чепчики она шила сама по картинкам в журнале мод, который ей дали на время. Когда Шарль приезжал в Берто, с ним обсуждали приготовления к свадьбе, совещались, в какой комнате устроить обед, уславливались о количестве блюд и относительно закусок.

Эмме хотелось венчаться в полночь, при свете факелов, но папаше Руо эта затея не пришлась по душе. И вот наконец сыграли свадьбу: гостей съехалось сорок три человека, пир продолжался шестнадцать часов, а утром – опять за то же, и потом еще несколько дней доедали остатки.

IV

Приглашенные начали съезжаться с раннего утра в колясках, в одноколках, в двухколесных шарабанах, в старинных кабриолетах без верха, в крытых повозках с кожаными занавесками, а молодежь из соседних деревень, стоя,

выстроившись в ряд, мчалась на телегах и, чтобы не упасть, держалась за грядки, – так сильно трясло. Понаехали и те, что жили в десяти милях отсюда, – из Годервиля, из Норманвиля, из Кани. Шарль и Эмма созвали всю свою родню, помирились со всеми друзьями, с которыми были до этого в ссоре, разослали письма тем знакомым, кого давным-давно потеряли из виду.

Время от времени за изгородью щелкал бич, вслед за тем ворота растворялись, во двор въезжала повозка. Кони лихо подкатывали к самому крыльцу, тут их на всем скаку осаживали, и повозка разгружалась, – из нее с обеих сторон вылезали гости, потирали себе колени, потягивались. Дамы были в чепцах, в сшитых по-городски платьях с блестевшими на них золотыми цепочками от часов, в накидках, концы которых крест-накрест завязывались у пояса, или же в цветных косыночках, сколотых на спине булавками и открывавших сзади шею. Около мальчиков, одетых так же, как их папаши, и, видимо, чувствовавших себя неловко в новых костюмах (многие из них сегодня первый раз в жизни надели сапоги), молча стояла какая-нибудь рослая девочка лет четырнадцати – шестнадцати, наверно, их кузина или старшая сестра, в белом платье, сшитом ко дню первого причастия и ради такого случая удлиненном, с волосами, жирными от розовой помады, вся красная, оторопелая, больше всего на свете боявшаяся испачкать перчатки. Конюхов не хватало, поэтому лошадей распрягали, засучив рукава, сами отцы семейств. Их одежда находилась в строгом соответствии с занимаемым ими положением в обществе – одни приехали во фраках, другие в сюртуках, третьи в пиджаках, четвертые в куртках, и все это у них было добротное, вызывавшее к себе почтительное отношение всех членов семьи, извлекавшееся из шкафов только по торжественным дням: сюртуки – с длинными разлетающимися полами, с цилиндрическими воротничками, с широкими, как мешки, карманами; куртки – толстого сукна, к которым обыкновенно полагалась фуражка с медным ободком на козырьке; пиджачки – кургузые, с двумя пуговицами на спине, посаженными так близко, что они напоминали глаза, с фалдами, точно вырубленными плотником из цельного дерева. Некоторые (эти, разумеется, сидели за столом на самых непочетных местах) явились даже в парадных блузах, то есть в таких, отложные воротнички которых лежали на плечах, спинку же, собранную в мелкие складки, перехватывал низко подпоясанный вышитый кушак.

А на груди панцирями выгибались крахмальные сорочки! Мужчины только что подстриглись, – поэтому уши у них торчали, – и тщательно побрились; у тех, что встали нынче еще до рассвета и брились впотьмах, под носом были видны поперечные царапины, а на скулах – порезы величиною с трехфранковую монету; дорогой их обветрило, и казалось, будто все эти широкие, одутловатые

лица кто-то отделал под розовый мрамор.

Так как от фермы до мэрии считалось не больше полумили, то все пошли туда пешком и пешком возвращались из церкви, после венчанья, на ферму. Шествие, двигавшееся сначала единой пестрой лентой, колыхавшейся в полях на узкой тропинке, что извивалась меж зеленей, вскоре растянулось и распалось на отдельные группы, увлекшиеся разговором. Впереди всех выступал музыкант со скрипкой, затейливо разукрашенной лентами; за ним шли новобрачные, потом сбившиеся в одну кучу родные и знакомые, а позади обрывала овсинки и под шумок затевала возню детвора. Платье Эммы, чересчур длинное, касалось земли; время от времени она останавливалась, подбирала его и осторожно снимала колючки затянутыми в перчатки пальцами, а Шарль, отпустив ее руку, ждал. Папаша Руо, в новом цилиндре и в черном фраке с рукавами чуть не до ногтей, вел под руку г-жу Бовари-мать. А г-н Бовари-отец, который в глубине души презирал все это общество и явился на свадьбу в простом однобортном, военного покроя сюртуке, расточал трактирные комплименты белокурой крестьянской девушке. Девушка приседала, краснела, не знала, что отвечать. Гости толковали о своих делах, а иные подтрунивали друг над другом, заранее настраиваясь на веселый лад. Музыкант все играл, все играл; прислушавшись, можно было различить его пиликанье. Как только скрипач замечал, что ушел далеко вперед, он сейчас же останавливался перевести дух, долго натирал канифолью смычок, чтобы струны визжали громче, а потом двигался дальше, то поднимая, то опуская гриф, – это помогало ему держать такт. Заслышав издали его игру, птички разлетались в разные стороны.

Стол накрыли в каретнике, под навесом. Подали четыре филе, шесть фрикасе из кур, тушеную телятину и три жарких, а на середине стола поставили превосходного жареного молочного поросенка, обложенного колбасками, с гарниром из щавеля. По углам стола возвышались графины с водкой. На бутылках со сладким сидром вокруг пробок выступила густая пена, стаканы были заранее налиты вином доверху. Желтый крем на огромных блюдах трясся при малейшем толчке; на его гладкой поверхности красовались инициалы новобрачных, выведенные мелкими завитушками. Нугу и торты готовил кондитер, выписанный из Ивето. В этих краях он подвизался впервые и решил в грязь лицом не ударить – на десерт он собственными руками подал целое сооружение, вызвавшее бурный восторг собравшихся. Нижнюю его часть составлял сделанный из синего картона квадратный храм с портиками и колоннадой, а вокруг храма в нишах, усеянных звездами из золотой бумаги, стояли гипсовые статуэтки; второй этаж составлял савойский пирог в виде башни, окруженный невысокими укреплениями из цуката, миндаля, изюма и

апельсинных долек, а на самом верху громоздились скалы, виднелись озера из варенья, на озерах – кораблики из ореховых скорлупок, среди зеленого луга качался крошечный амурчик на шоколадных качелях, столбы которых вместо шаров увенчивались бутонами живых роз.

Обед тянулся до вечера. Устав сидеть, гости шли погулять во двор или на гумно – поиграть в «пробку», а потом опять возвращались на свои места. К концу обеда многие уже храпели. Но за кофе все снова оживились, запели песни, потом мужчины начали пробовать силу – упражнялись с гирями, показывали свою ловкость, пытались взвалить себе на плечи телегу, за столом говорили сальности, обнимали дам. Вечером стали собираться домой, но лошадей перекормили овсом, и они не хотели влезать в оглобли, брыкались, вскакивали на дыбы, рвали упряжь, а хозяева – кто бранился, кто хохотал. И всю ночь по дорогам бешеным галопом неслись при лунном свете крытые повозки, опрокидывались в канавы, перемахивали через кучи щебня, скатывались с косогоров вниз, а женщины, высунувшись в дверцу, подхватывали вожжи.

Те, что остались в Берто, пропьянствовали ночь в кухне. Дети уснули под лавками.

Невеста упросила отца, чтобы ее избавили от обычных шуток. Тем не менее один из их родственников, торговец рыбой (он даже в качестве свадебного подарка привез две камбалы), начал было прыскать водой в замочную скважину, но папаша Руо подоспел вовремя и попытался втолковать ему, что зять занимает видное положение и что эти непристойные выходки по отношению к нему недопустимы. Однако родственник проникся его доводами не сразу. Подумав про себя, что папаша Руо зазнался, он отошел в уголок, к группе гостей; этим гостям случайно достались за обедом неважные куски, и теперь они, разобидевшись, перемывали косточки хозяину и, хотя и не прямо, желали ему разориться.

Госпожа Бовари-мать за весь день не проронила ни звука. С ней не посоветовались ни относительно наряда невесты, ни относительно распорядка свадебного пиршества; уехала она рано. Ее супруг остался – он послал в Сен-Виктор за сигарами и до самого утра все курил и попивал грог, чем заслужил особое уважение всей компании, которая понятия не имела о подобной смеси.

Шарль, остроумием не отличавшийся, во время свадебного пира не блистал. На все шутки, каламбуры, двусмысленности, поздравления и вольные намеки,

которыми гости сочли своим долгом осыпать его с самого начала обеда, он отвечал не очень удачно.

Зато наутро это был уже совсем другой человек. Казалось, что это он утратил невинность, меж тем как по непроницаемому виду молодой ни о чем нельзя было догадаться. Даже самые злые насмешники – и те прикусили язык, и когда она проходила мимо, они только глазели на нее, тщетно шевеля мозгами. Но Шарль и не думал таиться. Он называл Эмму женой, говорил ей «ты», спрашивал у каждого, как она ему нравится, всюду бегал за ней, беспрестанно уводил в сад, и гостям издалека было видно, как он, обняв ее за талию, гуляет по аллее, как он склоняется головой к ней на грудь и мнет кружевную отделку корсажа.

Через два дня после свадьбы молодые уехали – Шарль не мог дольше оставаться в Берто из-за пациентов. Папаша Руо дал им свою повозку и проводил их до Васонвиля. Там он в последний раз поцеловал дочь, потом слез с повозки и пошел домой. Отойдя шагов на сто, он обернулся и, глядя, как крутятся по дорожной пыли колеса удаляющейся повозки, тяжело вздохнул. Он вспомнил былое, вспомнил свою свадьбу, первую беременность жены; он тоже был весел в тот день, когда она сидела сзади него верхом на коне, бежавшем рысью по белому-белому полю, – ведь это было незадолго до Рождества, и снег уже выпал; одною рукой она держалась за мужа, а в другой у нее была корзинка; ветер трепал длинные концы ее кошского кружевного чепчика, они закрывали ей рот, и, оборачиваясь, он видел, что к его плечу вплотную прижимается ее улыбающееся розовое личико, выглядывающее из-под золотого ободка чепца. Время от времени она грела пальцы у него за пазухой. Как все это было давно! Теперь их сыну исполнилось бы уже тридцать лет! Старик еще раз оглянулся, но повозка скрылась из виду. И тут у него в душе стало пусто, как в доме, откуда вынесли все вещи. В его голове, которую затуманили винные пары, трогательные воспоминания мешались с мрачными мыслями, и его вдруг потянуло к церкви. Но, боясь, как бы ему там не стало еще тоскливее, он зашагал прямо домой.

Господин и госпожа Бовари приехали в Тост к шести часам. Соседи бросились к окнам поглядеть на молодую докторшу.

Старая служанка поздоровалась со своей новой госпожой, поздравила ее, извинилась, что обед еще не готов, и предложила пока что осмотреть дом.

V

Дом своим кирпичным фасадом выходил прямо на улицу или, вернее, на дорогу. За дверью висели плащ с низким воротником, уздечка и черная кожаная фуражка, а в углу валялась пара штиблет, на которых уже успела засохнуть грязь. Направо дверь вела в залу, то есть в комнату, где обедали и сидели по вечерам. Канареечного цвета обои с выцветшим бордюром в виде гирлянды цветов дрожали на плохо натянутой холщовой подкладке; на окнах висели цеплявшиеся одна за другую белые коленкоровые занавески с красной каемкой, а на узкой каминной полочке, между двумя накладного серебра подсвечниками с овальными абажурами, поблескивали часы с головой Гиппократа. В противоположном конце коридора была дверь в кабинет Шарля – каморку шагов в шесть шириной, – там стоял стол, три стула и рабочее кресло. Тома «Медицинской энциклопедии», хотя и неразрезанные, но после многочисленных перепродаж успевшие основательно поистрепаться, занимали почти целиком шесть полок елового книжного шкафа. Больные, сидя здесь на приеме, дышали кухонным чадом, проникавшим сквозь стену, зато в кухне было слышно, как они кашляют и во всех подробностях рассказывают о своих болезнях. За кабинетом находилась нежилая комната, окнами во двор, на конюшню, заменявшая теперь и дровяной сарай, и подвал, и кладовую, – там валялись железный лом, пустые бочонки, пришедшие в негодность садовые инструменты и много всякой другой пыльной рухляди, неизвестно для чего в свое время предназначавшейся.

Неширокий, но длинный сад тянулся меж двух глинобитных стен, не видных за рядами абрикосовых деревьев, и упирался в живую изгородь из кустов терновника, а дальше уже начинались поля. Посреди сада на каменном постаменте высились солнечные часы из аспидного сланца; четыре клумбы чахлого шиповника симметрично окружали грядку полезных насаждений. В глубине, под пихтами, читал молитвенник гипсовый священник.

Эмма поднялась на второй этаж. В первой комнате никакой обстановки не было, а во второй, где помещалась спальня супругов, стояла в алькове кровать красного дерева под красным пологом. На комоде привлекала внимание коробочка, отделанная ракушками; у окна на секретере стоял в графине букет флёрдоранжа, перевязанный белою атласною лентою. То был букет новобрачной, букет первой жены! Взгляд Эммы остановился на нем. Шарль это заметил и, взяв букет, понес его на чердак, а молодая, в ожидании, пока расставят тут же, при ней, ее вещи, села в кресло и, вспомнив о своем

свадебном букете, лежавшем в картонке, задала себе вопрос, какая участь постигнет ее флёрдоранж, если вдруг умрет и она.

С первых же дней Эмма начала вводить новшества. Сняла с подсвечников абажуры, оклеила комнаты новыми обоями, заново покрасила лестницу, в саду вокруг солнечных часов поставила скамейки и даже стала расспрашивать, как устроить бассейн с фонтаном и рыбками. Наконец супруг, зная, что она любит кататься, купил по случаю двухместный шарабанчик, который благодаря новым фонарям и крыльям из простроченной кожи мог сойти и за тильбюри.

Словом, Шарль наслаждался безоблачным счастьем. Обед вдвоем, вечерняя прогулка по большаку, движение, каким его жена поправляла прическу, ее соломенная шляпка, висевшая на оконной задвижке, и множество других мелочей, прелесть которых была ему прежде незнакома, представляли для него неиссякаемый источник блаженства. Утром, лежа с Эммой в постели, он смотрел, как солнечный луч золотит пушок на ее бледно-розовых щеках, полуприкрытых оборками чепца. На таком близком расстоянии, особенно когда она, просыпаясь, то приподнимала, то опускала веки, глаза ее казались еще больше; черные в тени, темно-синие при ярком свете, они как бы состояли из расположенных в определенной последовательности цветовых слоев, густых в глубине и все светлевших по мере приближения к белку. Глаз Шарля тонул в этих пучинах, – Шарль видел там уменьшенного самого себя, только до плечей, в фуляровом платке на голове и в сорочке с расстегнутым воротом. Он вставал. Она подходила к окну и смотрела, как он уезжает. Она облокачивалась на подоконник, между двумя горшками с геранью, и пеньюар свободно облегал ее стан. Выйдя на улицу, Шарль ставил ноги на тумбу и пристегивал шпоры; Эмма продолжала с ним разговаривать, стоя наверху, покусывая лепесток или былинку, а потом сдувала ее по направлению к Шарлю, и она долго держалась в воздухе, порхала, описывала круги, словно птица, и, прежде чем упасть, цеплялась за лохматую гриву старой белой кобылы, стоявшей у порога не шевелясь. Шарль садился верхом, посылал Эмме воздушный поцелуй, она кивала ему в ответ, закрывала окно, он уезжал. И на большой дороге, бесконечною пыльною лентою расстилавшейся перед ним, на проселках, под сводом низко нагнувшихся ветвей, на межах, где колосья доходили ему до колен, Шарль чувствовал, как солнце греет ему спину, вдыхал утреннюю прохладу и, весь во власти упоительных воспоминаний о минувшей ночи, радуясь, что на душе у него спокойно, что плоть его удовлетворена, все еще переживал свое блаженство, подобно тому как после обеда мы еще некоторое время ощущаем вкус перевариваемых трюфелей.

Был ли он счастлив когда-либо прежде? Уж не в коллеже ли, когда он сидел взаперти, в его высоких четырех стенах, и чувствовал себя одиноким среди товарищей, которые были и богаче и способнее его, которые смеялись над его выговором, потешались над его одеждой и которым матери, когда являлись на свидание, проносили в муфтах пирожные? Или позднее, когда он учился на лекаря и когда в карманах у него было так пусто, что он даже не мог заказать музыкантам кадриль, чтобы потанцевать с какой-нибудь молоденькой работницей, за которой ему хотелось приударить? Потом он год и два месяца прожил со вдовой, у которой, когда она ложилась в постель, ноги были холодные, как ледышки. А теперь он до конца своих дней будет обладать прелестною, боготворимою им женщиной. Весь мир замыкался для него в пределы шелковистого обхвата ее платьев. И он упрекал себя в холодности, он скучал без нее. Он спешил домой, с бьющимся сердцем взбегал по лестнице. Эмма у себя в комнате занималась туалетом; он подходил к ней неслышными шагами, целовал ее в спину, она вскрикивала.

Не дотрагиваться поминутно до ее гребенки, косынки, колец – это было свыше его сил; он то взасос целовал ее в щеки, то покрывал быстрыми поцелуями всю ее руку, от кончиков пальцев до плеча, а она полуласково, полусердито отталкивала его, как отстраняем мы детей, когда они виснут на нас.

До свадьбы она воображала, что любит, но счастье, которое должно было возникнуть из этой любви, не пришло, и Эмма решила, что она ошиблась. Но она все еще старалась понять, что же на самом деле означают слова: «блаженство», «страсть», «упоение» – слова, которые казались ей такими прекрасными в книгах.

VI

В детстве она прочла «Поля и Виргинию» и долго потом мечтала о бамбуковой хижине, о негре Доминго, о собаке Фидель, но больше всего о нежной дружбе с милым маленьким братцем, который срывал бы для нее красные плоды с громадных, выше колокольни, деревьев или бежал бы к ней по песку босиком, с птичьим гнездом в руках.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Нарастая (итал.).

2

Вот я вас! (лат.)

3

Я смешон (лат.).

Купить: https://tellnovel.com/gyustav-flober/gospozha-bovari-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити